

**ЗИНАИДА
ГИППИУС**

СВЯТАЯ
ПЛОТЬ

Зинаида Гиппиус

Святая плоть

«Public Domain»

1900

Гиппиус З. Н.

Святая плоть / З. Н. Гиппиус — «Public Domain», 1900

«В чистый понедельник ночью купец Родион Яковлевич Глебов вернулся в свой город из Москвы. Он думал попасть домой к масленой, да не успел, и как ни противен был ему московский масленичный шум и суета – он себя превозмог, остался, кого нужно повидать – повидал, справился хорошо и теперь ехал довольный. Впрочем, довольство его ничем не выражалось: глаза, как всегда, были строги, брови слегка сдвинуты. Он одевался по-русски, без щегольства, но и без всякой неряшливости: высокие сапоги, теплый картуз. Его худощавое, темное лицо, обрамленное длинной бородой стального цвета, было похоже на лик старого письма...»

© Гиппиус З. Н., 1900

© Public Domain, 1900

Содержание

I	5
II	8
III	11
IV	13
V	15
VI	19
VII	22
VIII	24
IX	27

Зинаида Николаевна Гиппиус

Святая плоть

I

В чистый понедельник ночью купец Родион Яковлевич Глебов вернулся в свой город из Москвы. Он думал попасть домой к масленой, да не успел, и как ни противен был ему московский масленичный шум и суэта – он себя превозмог, остался, кого нужно повидать – повидал, справился хорошо и теперь ехал довольный. Впрочем, довольство его ничем не выразалось: глаза, как всегда, были строги, брови слегка сдвинуты. Он одевался по-русски, без щегольства, но и без всякой неряшливости: высокие сапоги, теплый картуз. Его худощавое, темное лицо, обрамленное длинной бородой стального цвета, было похоже на лик старого письма.

Родион Яковлевич вышел из вагона с ручным саквояжем (багажа он не возил), миновал холодные желтые залы вокзала, громадного, еле освещенного, грязного, похожего на все вокзалы губернских городов, и, толкнув тяжелую дверь, вышел на крыльцо.

Вокзал был далеко от города, версты четыре по полю. У ступенек крыльца стояло несколько широких извозчичьих саней.

– Пожалуйста, Родион Яковлевич! С приездом вас! – крикнул Федька. – Ивана нет нонче. Давно вас дожидались, еще на масленой. Пожалуйста; духом доведу.

Глебов молча уселся в сани и запахнул медвежью шубу. Стояли морозы, последние, но крепкие, звонкие. Полозья так и визжали по масленистой дороге. С ясного, широкого, синечерного неба светит месяц, маленький, немного на ущербе, но пронзительно-яркий от мороза.

Свежие Федькины лошади бежали бодро по голубой равнине. Кое-где в снегу мелькали темные домики. Федька-извозчик то и дело оборачивался к Родиону Яковлевичу и заговаривал, не смущаясь тем, что купец отвечал ему редко.

– Как дела изволили справить, Родион Яковлевич? Все ли в добром здоровье?

– Слава Богу.

– Ну, подай Господь. А я позавчерашнего дня Николая Семеновича на станцию возил.

– Сурина?

– Точно так. В Казань отъехали. Спрашивали, когда ваша милость из Москвы будут. Мне Евлампия Ниловна, Дунина госпожа, говорили, что каждый день ждут, ну я так и сказал, что каждый, мол, день ждут.

– А ей-то откуда знать? – сурово вымолвил Глебов.

– Через Серафиму Родионовну, не иначе. Изволили писать Серафиме Родионовне? А барыню Дунину я тогда с рынка вез.

Глебов ничего не отвечал. Старшей дочери, Серафиме, он не писал. Она и так должна ждать его каждый день. Светать начнет, утро недалеко, Серафима знает, когда поезд приходит, и, верно, встала, ждет с самоваром.

«Лиза что?» – подумал вдруг Глебов и плотнее запахнул шубу.

Утро было, точно, недалеко – но еще не светало. Только месяц все выше забирался на пустынное небо, делался меньше и ярче, и от его света голубая, тихая равнина казалась еще тише. Въехали в город – и ничто не переменилось, тот же простор, та же тишина: широкая-широкая, сине-белая улица, и кажется она еще шире, потому что прямая и потому что тянутся по сторонам низенькие домики в один этаж; снежные кровли сливаются со снежной улицей, окна потухшие, только кое-где стекло сверкнет мертвым месячным светом. Нет проезжих, и собаки не лают, глухая ночь, глухой город, глухие дома, и люди в них глухие, потому что спят. Снежное море кругом молчит, со своими неподвижными белыми волнами.

Федька свернул лошадей влево, в переулочек. На повороте открылись и слабо замерцали вдали золоченые главы кремлевского собора. Родион Яковлевич глянул и три раза, не торопясь, перекрестился. В ту же минуту где-то запел петух. Ему ответил другой, дальше, потом еще и еще, совсем далеко, чуть слышно.

– Третьи, никак, – сказал замолкший было Федька. – Заря занимается. Пожалуйте, ваше степенство, приехали!

Дом у купца Глебова был хороший, деревянный, старый и крепкий, с широким, поместительным мезонином. Его весь занимала семья одного судейского барина. Сам Родион Яковлевич с дочерьми жил в двух комнатах, внизу, почти что в подвале, ход был в ворота, через двор. Из переулочка дома и не видно, он стоял на улице.

Калитку скоро отворили. Родион Яковлевич, поскрипывая сапогами, пошел к дому. Внизу, в широком, низком окне у самой земли, тускло краснел огонь. Серафима ждала отца.

Глебов прошел через темные сени, где визгнул блок, и отворил дверь в первую горницу. Удушливое тепло его охватило. Серафима Родионовна приняла саквояж, шапку и шубу. Направо, в углу, низко, стоял киот с образами и теплилась красноватая лампада. Родион Яковлевич молча помолился, медленно кланяясь, и обернулся к дочери.

– Ну, здравствуй теперь.

Она поцеловала его руку, он поцеловал ее в голову.

– Живешь? Что Лиза?

– Слава Богу, папаша. Вы как съездили? Здоровы ли?

– Ничего. Задержался маленько, да ничего, все ладно. Самовар-то есть у тебя?

– Самовар готов, – сказала Серафима и неслышно вышла. У нее был тихий голос и тихие движения.

В этой же горнице, низкой, неглубокой, Родион Яковлевич и спал. У дверей выдавалась белая печка; между печкой и стеной в другую комнату, в углу, стояла кровать Родиона Яковлевича, за синей ситцевой занавеской. Между двумя широкими, точно сплюснутыми окнами, был раскинут стол, накрытый свежей серой скатертью с красными каймами. В простенке горела жестяная лампочка. На высоком подоконнике лежали большие, видно тяжелые, желтые счеты. Громадные, низко висящие часы с розанами на посеребренном циферблате показывали теперь без двадцати пять.

Родион Яковлевич сел к столу. Вошла Серафима, вынула из стеклянного шкафчика чайный прибор и початый домашний хлеб. Закутанная Дарья внесла большой, шипящий самовар. Серафима, все так же неслышно двигаясь, заварила чай и села поодаль: ее совсем стало не видно за высоким самоваром.

Родион Яковлевич помолчал. Потом спросил дочь:

– Заходил кто?

– Знали, папаша, что вы в отъезде... Кому заходить? Евлампия Ниловна была.

Он глянул из-под бровей.

– Ну, эта еще... Бабы шлепотки. Небось косила, косила языком. А ты? Была где?

– На ефимонах была, у Сергия...

– На ефимонах! В гости, спрашиваю, куда ходила? Серафима ответила не вдруг. Как будто чуть заметная розовая тень легла на ее немолодое, бледное лицо. Заговорила она так же тихо, но торопливее:

– Я, папаша, тоже один раз у Евлампии Ниловны была. В аптеку перед вечером пошла, Лизе грудного чаю взять, а Евлампия Ниловна там. Уговорила меня, я с полчаса у них посидела.

Отец опять глянул в ее сторону из-под бровей, суровее.

– А Лизу на кого покидала?

– Дарья с ней оставалась... – еще тише ответила Серафима и протянула отцу большую фарфоровую чашку с чаем.

Родион Яковлевич чашку принял, поставил перед собой, помолчал.

– А что Лиза, нездорова, что ль, была? – спросил он хмуро.

– Нет, так, закашляла, да прошло.

– Спит?

– Спит покойно.

– Там свет у тебя есть?

– Лампада горит.

Родион Яковлевич медленно поднялся из-за стола.

– Взгляну, не видал еще, – сказал он и, осторожно ступая, пошел к притворенной двери.

Серафима встала за ним.

Другая горница была побольше первой и оттого казалась еще ниже. Темный блеск лампадки едва освещал ее. Два окна выходили на двор, а два – по другой стене – в садик, и снег совсем завалил их. На широкой двуспальной постели, почти под лампадными лучами, спала, разметавшись, девочка лет пятнадцати, крупная, полная, удивительно красивая. Недлинные коричневые локоны мягко вились у лба и нежных ушей и падали слабыми кольцами на подушку. На щеках розовыми пятнами стоял румянец. Тонкие разлетающиеся брови давали не то испуганное, не то невинно-лукавое выражение ее лицу с темной тенью сомкнутых ресниц. Губы были полуоткрыты, как у спящих детей. Родион Яковлевич постоял молча, очень тихо. Лицо его стало яснее, морщины сползли со лба.

Лиза пошевелинулась и чуть-чуть застонала.

– Разбудите! – шепнула Серафима.

Глебов встрепенулся и трижды, широко, перекрестил девочку.

– Христос с тобою! Спи с Богом!

И, опять так же осторожно ступая, вернулся в первую горницу, к чайному столу.

II

Родион Яковлевич Глебов был один из старейших и наиболее уважаемых купцов в городе. Дела он вел большие, но тихо, так что никто в точности о его состоянии ничего не знал. Он торговал мукою оптом, склады его были в пригороде, за рекою. Приказчика настоящего имел только одного, который там же в пригороде и жил. Несколько лет тому назад Глебова выбрали церковным старостой за крупное пожертвование на новоотстроенную церковь Сергия в его приходе.

Всем была известна строгая, смиренная жизнь Родиона Яковлевича и его благочестие.

Серафима хорошо помнила свою мать: она умерла в самый день рождения Лизы, а Серафиме шел в то время четырнадцатый год. Мать была еще молодая, веселая, – но тихая, с карими глазами. Волосы у нее вились кольцами, как у Лизы, только она прикрывала их шелковым платочком. Жили они тогда не внизу, а в мезонине, там было светло и просторно, четыре горницы. По углам стояли тяжелые кiotы, и теплились лампадки перед праздниками, а у отца неугасимая.

Серафима знала, что отец был из семьи древнего благочестия. Рассказывали, что смолodu он считался первым начетчиком и чуть не тверже отца с матерью ненавидел православную церковь и никониан, – а семья его старого закона очень строго держалась. Двадцати лет он был сведущ в Писании, как не бывает иной и сорока, и не раз вел степенные споры с приезжими священниками. Что с ним вдруг подеялось – никто не знал. Отверг старописные книги, в церковь пошел, отцу и матери так прямо это и объявил. Когда спрашивали, кто его смутил – он отвечал одинаково: «Никто не смутил, сам своим разумом дошел, а против своего разума ничего не могу». Характер его знали: коли скажет, что своим разумом дошел, – так уж тут назад его не повернешь. Говорили, будто отец с матерью прокляли его, в нем и в детях его, но наверно никто этого не знал. Родион Яковлевич стал жить один, а вскоре старики умерли и, несмотря на проклятие, дом и капитал отказали сыну. Родион Яковлевич опять поселился в старом доме, дела расширил и лет через пять женился на небогатой сироте, православной, которая вскоре родила ему дочь Серафиму, а через тринадцать лет – Лизу, и в родах умерла.

Родион Яковлевич, суровый, молчаливый, с самого раннего детства внушал Серафиме ужас. Придет, бывало, домой, слова не скажет, за обедом бровей не раздвинет. Защелкнется за ним дверь – а мать уж шепчет Серафиме, шепчет, головой кивает и улыбается тихо:

– Ты, Фимочка, не бойся отца. Он добрый, ты не смотри, что он такой угрюмый, он добрый.

Фимочка все была с матерью. Отдали ее было по десятому году не то в школу, не то в пансион, да скоро взяли. Довольно поучилась, а много девушке знать не годится.

– Что ты у меня какая бледная да боязливая, – говаривала мать Фимочке. – С отцом слова никогда не скажешь. Он тебя не съест, он добрый, только у него характер такой, потому что он в древнем благочестии был.

Мать улыбается, но Фимочка все-таки боится, не понимает и, наконец, робко спрашивает:

– Мамашечка, а что это такое «древнее благочестие»?

На этот вопрос мать всегда отвечала все тем же пространным рассказом, нараспев, как Родион Яковлевич «дошел своим разумом» и как гневались отец с матерью, а ничего поделать не могли.

Но Фимочка все-таки не понимала, что такое «древнее благочестие», и ей было еще страшнее.

Мать сидела у окна, в своем шелковом платочке на пышных волосах, а девочка около нее, на низкой скамейке, и жалась к ее коленям.

– Характер у тебя боязливый, – говорила мать. – А какое оно, древнее благочестие-то, я не знаю, потому что мы из православных. Слыхала, что люди, что по старине живут, все такие степенные да сумрачные. У них строго. Вот образа тоже. Наш образ, возьми ты хоть Спасителя али Богородицу с Младенцем, – лик светлый, волосы кудрявятся, ребеночек с улыбкою написан, и глазок у него карий, радостный. А которые по старине люди – те этого не приемлют. У них в иконе чтобы тьма была, лик черный, только глаза белые на тебя смотрят и ужасают, это точно. Я видала такие иконы, да и у нас есть в киоте, не ихние, а вроде как бы ихние, тоже старые.

Фимочка думала о древних иконах, ей вспоминалось лицо отца, и снова делалось страшно. А мать продолжала:

– Родион Яковлевич добрый. Он разумом дошел до нашей православной радости, а в сердце у него и во всем его характере – старинная строгость, потому что, кто в чем вырос и возмужал, – тот того не превозможет. Ну, оно и показывается, будто он суровый. В нем крепость большая. Ты покоряйся ему только, дочка, слушай его во всем.

Серафима покорялась и слушалась, и все-таки боялась отца. Она верила, что он дошел разумом до «православной радости», но лик у него все-таки был темный, и сердце в нем было старое.

Когда умерла мать, пришли священники, стали петь панихиду. Лицо у Родиона Яковлевича сделалось еще темнее, но он не плакал. Серафима плакала тихими, покорными слезами. Мать лежала на столе и печально улыбалась, вся белая. Священники пели над ней, что она уж не будет больше ни печалиться, ни вздыхать, а Серафиме припоминалось, как мать ей говорила:

– Ты, Серафимочка, не смотри, что я все сижу у окна да вздыхаю иной раз, будто печалюсь. Я тебе вот о радости моей говорю, а ты то понимай, что я и сама не знаю, радость ли она, или печаль. Мне в радости-то моя печаль и дорога. Вздохну я – и сладко мне. В печали моей страха нет.

И Серафиме было больно, что там, куда ушла мама, у нее отнимут ее радостную печаль.

Остались они одни. Перешли вниз. Лизе кормилку наняли. Странная была девочка, больная. Серафиме отец сразу передал домашнее хозяйство, и так оно с тех пор и пошло. На ее руках и Лиза была. Когда девочка стала подрастать – увидали, что она совсем больная. Руки и ноги у нее дергало, и чем дальше, тем больше. Говорить не научилась, ничего не понимала и не слышала, только дико мычала. Серафима к ней привыкла, а другие ее боялись, особенно когда она стала ходить и расти. Отец звал докторов, сказали, что она глухонемая, слабоумная, что у нее Виттова болезнь и сердце не крепкое. Два раза Серафима с отцом и Лизой ездили на далекое богомолье, к мощам и к чудотворной иконе. Серафима ждала чуда, но Лиза не поправилась. Отец стал еще сумрачнее, но все чаще заходил в горницу, когда Лиза спала – а спала она тихо, спокойно – и подолгу глядел на нее. Однажды сказал Серафиме строго и постучал пальцем по столу:

– Смотри, береги сестру! Как мать, береги ее! Ты мне за нее ответ дашь.

Лиза любила отца больше, чем Серафиму; когда он входил, бросалась к нему, мычала, дергаясь. Он часто брал ее за руку, гладил по голове и смотрел подолгу ей в лицо. Первый вопрос его был, когда он возвращался из отлучки, о Лизе.

Серафима покорно ходила за Лизой, без возмущения и без особой привязанности. Спала с ней вместе, кормила и одевала ее. У Лизы бывали припадки, она очень страдала, и тогда Серафима думала: «Бог приберет ее, – ей там лучше будет. Жалко, мучается. Какая уж это жизнь!»

Лиза росла, выравнивалась, полнела и была очень красива, когда спала: она походила на мать. Годы шли незаметно, похожие один на другой. Бледное, длинное, тихое лицо Серафимы, некрасивое, с широкими светлыми глазами и слегка оттянутым книзу ртом – делалось еще бледнее и тише. Серафима не скучала и не терзалась: жила, не замечая годов, смотрела за

Лизой и за хозяйством; читала «Ниву» и переводные романы; когда думала, то тихо и смутно вспоминала мать. Ходила в церковь к службам; отца боялась, но меньше, потому что слушалась его и знала, как ему угодить.

Так шла жизнь Серафимы до последней зимы, когда ей минул двадцать девятый год.

III

Дня через два после возвращения Родиона Яковлевича Серафима шла из церкви домой по деревянным, мокрым мосткам своего переулка. Был час четвертый в самом начале. Морозы оборвались сразу, пришла весна, безветренная, неслышная, ласково и тихо, почти незаметно съедающая снега. Небо стояло неподвижно ясное, голубое, будто умытое, все в предвечернем золоте. Под снегом, в канавке, уже текли тонкие ручейки, но тоже тихие, без лепета. Нежный воздух был остр и так легок, точно вовсе его не было.

В церкви, откуда шла Серафима, только что кончилась служба покаяния. Медленно читали, медленно выходил священник в темных одеждах, говорил мучительную молитву и кланялся в землю, и все, за ним, на сырые плиты недавно отстроенной церкви склонялись до земли. Все, все возьми от меня, Господи, молились люди, все, что вложено в нас Тобою, и дай силу уничтожить во мне данное Тобою. И дай видеть его яснее, чтобы лучше уничтожить. Дух смирения и воздержания пошли мне, Господи.

И такая сила была в этих словах, что они были почти прельстительны.

Серафима не рассуждала. Она, как всегда в посту, ходила в церковь и говорила за священником молитву покаяния, и грустила, и долго потом повторяла: «Дух целомудрия, смиренного мудрия, терпения...» И теперь она еще думала о молитве, но ей не было грустно. Нежное небо, радостный воздух дали ей вдруг испугавшую ее радость. Она даже подумала: «Ой, что это я, грешница! Чего веселюсь?»

Но потом ей пришло в голову, что как-никак – а пост кончается Пасхой, значит, оттого и в посту радостно.

Навстречу, по пустынным мокрым мосткам, шел очень высокий молодой человек в шубе. У него было белое лицо, веселые добрые, совсем голубые глаза и широкая золотая борода. Не рыжая, а именно золотая, бледноватого золота. Он поклонился Серафиме, улыбнулся, и глаза его стали еще добрее и веселее.

Серафима слегка ахнула и покраснела.

– От Сергия, Серафима Родионовна? Богу молились?

– Да... – сказала Серафима невнятно. – Я домой.

– Позвольте мне проводить вас. Вы говорили – рецептик один для Лизаветы Родионовны нужно вам в аптеку. Так я бы рецепт принял, нынче к вечеру было бы готово.

– Нет, что ж, – заговорила опять Серафима. – Это после как-нибудь, Леонтий Ильич. Не к спеху. Очень благодарю вас.

Они тихонько шли вместе. Леонтий Ильич Дунин, сын Евлампии Ниловны, провизор, казался еще стройнее, моложе и выше ростом рядом с худенькой фигуркой Серафимы в черном, нескладном платье. Длинное, бледное лицо ее, впрочем, порозовело и все точно осветилось тихой радостью.

– Весна будет, – сказал Дунин. – Небеса-то какие высокие.

– А я вот из церкви шла, Леонтий Ильич, и думала: отчего это, грех какой, нет во мне печали, а веселость на душе? А это, верно, погода очень уж светлая.

– Светлая погода. Хорошо. Серафима торопливо прибавила:

– Да и пост к Светлому празднику идет.

Леонтий Ильич поглядел на нее с ласковым недоумением. Они не очень давно были знакомы. Леонтий Ильич учился в московской школе, приехал в город недавно. Серафима с ним до сих пор все больше молчала.

– А вы такая тихая и печальная, – сказал он ей. – Смотришь, смотришь на вас – и так бы вас, кажется, и развеселил, разговорил, обрадовал, чтобы вы улыбнулись. Вот как сейчас.

Серафима улыбнулась и опять покраснела.

– Так что ж, развеселите, – сказала она. Сердце у нее тихо билось, и воздух еще ласковее прикипал к ее лицу. – Какие мне радости? – прибавила она вдруг. – Вот и домой пришли.

Они, точно, стояли у калитки.

– Мамаша сегодня хотела быть у вас, – сказал Леонтий Ильич. – Если зайдет, – вы ей рецепт-то отдайте. А вечером лекарство будет готово. Я вечером отлучиться рано не могу, а может, вы сами зайдете...

– Уж не знаю, как, – почти шепотом проговорила Серафима и толкнула калитку. – Спасибо вам.

Она осмелела в последнюю минуту и подняла на него глаза. Он стоял высокий, веселый, тоже немного робкий и глядел на нее, чуть улыбаясь своей доброй улыбкой. Серафима ему нравилась.

Когда калитка захлопнулась, и Серафима очутилась одна среди большого, снежного двора, ей показалось, что в голове у нее нет ни одной мысли, что и не может она ни о чем думать, и не хочет, а так только хочет стоять посреди двора и улыбаться.

Снег посинел, небеса побледнели, невидная весна была везде, во всем, смиренно-мудрая и любовная; и покорная душа Серафимы была полна ее таинственной и божеской радостью.

«Будет Христос Воскресе», – опять подумала Серафима, глядя на снега и небо и не умея иным оправдать своей радости. Небо и снег были чистые-чистые, и казалось, что ничего другого и нет на свете, кроме чистоты, тишины и счастья.

Но в эту минуту от решетки палисадника, в глубине двора, отделилась крупная фигура Лизы в черном ватном салопе и в платке. Из салопы она выросла, виднелись ноги в широких серых чулках и грубых башмаках.

Кривляясь и дергаясь, размахивая руками, девочка подходила к Серафиме. Лицо тоже дергалось, было грязно и даже не уродливо, а отвратительно. Серафима очнулась, поглядела на Лизу, и в первый раз она ей показалась страшной. Зачем она здесь, мычащая, замазанная, гадкая, когда повсюду так тихо и чисто? Но Серафима не сказала себе этого словами, только радость ее вдруг исчезла, и она рассердилась.

– Кто тебя одну гулять выпустил? – проговорила она громко, хотя знала, что Лиза и не слышит ее, и не понимает. – Домой, домой! – прибавила она, привычными жестами, на пальцах, быстро показывая, что надо идти домой. Лиза было замычала, но Серафима взяла ее за руку и повела, не оглядываясь.

Родиона Яковлевича не было дома. Дарья объяснила, что она одела Лизу и пустила на двор, а сама на минутку отлучилась. Серафима угрюмо и сердито сняла с кривляющейся и воющей Лизы салоп, переобула, умыла ее. Лиза пошла ходить, шатаясь, по двум комнаткам и задевала, болтая длинными руками, то за притолку, то за гири часов. Смер-клось. Серафима сидела у стола молча, не зажигая лампы, а Лиза все ходила, неровно, стучала башмаками, дергалась и слегка подвывала, будто жаловалась.

Серафима знала, что в такие дни она долго не будет спать, что ее нужно вечером мучительно укладывать, а она все станет подыматься с постели, дергаться и мычать.

IV

На другой день пришла Евлампия Ниловна Дунина, мать Леонтия Ильича, дама полная, белобрысая. У нее были широкие, красные, трясущиеся щеки и нехорошие зубы. Ходила она не в шляпке, а в белом шелковом платке.

Чай давно отпили. Родион Яковлевич был дома, сидел в своем углу, за столом, насупившись, и молчал. Он недолюбливал Евлампью Ниловну, но уж очень они давно были знакомы, старик Дунин знавал покойную жену Родиона Яковлевича. Теперь Дунин лет пять как был в параличе, без ног. У Евлампии Ниловны, кроме сына, росли три девочки, лет восьми – десяти.

Евлампия Ниловна от чаю покраснела еще больше и распахнула шаль. Лиза чем-то занялась в углу, слышно было ее ворчанье. Серафима сидела против отца, бледная и тихая, как всегда.

– Да, надо сказать правду, надо, – журчала Евлампия Ниловна, – Леня один наша надежда. Уж это я всем говорю и вам говорила, – да что ж, коли правда! Думали – совсем погибнем, как старик-то мой сел. Нюше три года было. Ну, думаю, что ж, видно околевать. А тут Леня из Москвы пишет: потерпите, устройю вас. И выслал кое-что, – ведь ухитрился! Я и решила: как-нибудь перебьемся, потерпим. Знали вы нашу нужду, Родион Яковлевич. Да вот Бог послал. И какой он, Леня, счастливый у меня! Сейчас это приехал, и сейчас ему место провизором. И квартиру Карл Степаныч дал, потому что семья, отец больной. Уж такое-то подспорье эта квартира, такое-то подспорье... Не великое дело, конечно, две комнаты...

– А куда их больше? – угрюмо сказал Родион Яковлевич. – Две комнаты и мы живем.

– Ваше дело другое, – мягко возразила гостья. – Вам не надо больше, вон весь дом ваш, да не надо вам. А у меня семья, больной, Леня – человек взрослый... Тесно, тесно, говорить нечего, да спасибо, хоть с голоду не подохнем. Такой уж сын у меня удался. Счастливый он у меня.

Родион Яковлевич все хмурился. Лиза наткнулась на стул, повалила его, сама едва не упала, испугалась и завyla. Серафима пошла к ней. Гостья закачала головой.

– Сокрушает вас Лизочка-то, – проговорила она почти сладко. – Кому какой крест послан.

Родиону Яковлевичу это совсем не понравилось. Он поднялся и крикнул на Серафиму:

– Ну, что там? Чего она? Серафима не сразу ответила:

– Ничего, папаша. Только блажит у нас Лиза со вторника. Спать не уложишь. Боль у ней, что ли, какая, или так, перед припадками. Сна совсем нет.

Угомонив Лизу, Серафима подошла к отцу.

– Не взять ли ей тех капель, папаша? – спросила она тихонько.

– Каких еще?

– А помните, в третьем годе, московский доктор прописал? Еще много давать не велел, мы понемногу давали, она спать стала. И припадки были тогда легче.

– Что ж, возьми. Записаны они у тебя?

– Рецепт есть. Евлампия Ниловна, может, как домой пойдет – так захватит. Их делать еще надо. К вечеру Дарью пошлем.

– Давай, давай, милая, я захвачу, – с готовностью согласилась Евлампия Ниловна. – Сразу его Лене и отдам. Он у меня живо... Да что ты, Серафима Родионовна, спесивишься, никогда меня, старуху, не навестишь? А ведь я тебя семи-леточкой видела, с мамашей. Все я да я хожу, а ты, словно графиня, дома сидишь.

– Мне нельзя, – тихонько промолвила Серафима и опустила глаза. – Я с Лизой. Да и не привыкла я.

– Что там не привыкла! Была ведь у меня. Ну и нынче заходи, за каплями-то.

– Какие гости по вечерам, – сказал Родион Яковлевич. – Пустое. Разве что за делом.

– За делом, за делом! – подхватила Евлампия Ниловна. – Она девушка не вертушка. Приходи же, папаша, вон, позволил. А я, милые, пойду теперь. Что-то еще дома у меня! Прощайте, прощайте. Прощай, Лизочка. Не видит! Кудахчет, словно курочка...

Гостя ушла. Перед вечером, еще не совсем смерклось, Родион Яковлевич сказал:

– Не забыть бы капли-то.

– Я пошлю Дарью, папаша, – тихонько молвила Серафима. Глебов помолчал.

– Дарью... А там написано, как их брать-то? Не перепутать бы чего. Сходи сама, пожалуй. Да спроси там, по сколько и что.

Серафима вспыхнула в сумерках и по внезапной своей радости поняла, что ей очень хотелось идти. Но она не сказала ни слова, только встала, зажгла лампочку, повесила ее над столом, потом прошла в другую комнату одеться. Лиза сидела на скамеечке со свертком из тряпок, который был для нее не то куклой, не то вообще игрушкой. Серафима стала одеваться, торопясь, хватая не то, что нужно, точно боясь, что отец передумает и не отпустит ее. Когда она, готовая, вышла из спальни, Родион Яковлевич сидел в углу под лампой, проглядывал большую шнуровую книгу и щелкал желтыми деревяшками счетов. Серафима подошла и поцеловала у него руку. Отец едва поднял на нее глаза и молвил только:

– Скорей назад будь. Не засиживайся у этой... Она рада до полночи язык трепать.

V

Аптека у немца Карла Степаныча Рот была прекрасная, светлая, на главной улице города. За помещением аптеки, через сени, – была квартирка провизора Леонтия Ильича Дунина с семьей. Комнатки низкие, но довольно просторные. В первой обедали, ужинали, большой старик сидел в кресле; за перегородкой спал Леонтий Ильич. Во второй спала вся семья.

Серафима сидела в «зале» за столом, который стоял посреди комнаты, накрытый белой скатертью, а над ним с потолка висела лампа.

– Ты шляпку-то, шляпку сними, Фимочка, – убеждала Евлампия Ниловна. – Что это, право, в кои-то веки отпустят и то не посидишь. Угостить-то хоть дай тебя чем-нибудь.

– Нет уж, Евлампия Ниловна, мне пора. Право, пора. Серафима, однако, не вставала и все смотрела вниз, на белый круг скатерти, освещенный лампой.

Леонтий Ильич сидел тут же, чистенький, красивый, милый, поблескивая добрыми синими глазами.

– Если бы не капельки, а порошки вам понадобились, Серафима Родионовна, – говорил он, – так я бы вам славную коробочку выбрал. У нас есть очень красивые. Прелестные картинки. Да я и так вам присмотрю какую-нибудь, к будущему разу. Пудры можно положить, мелу чистого или еще чего...

– Спасибо вам, – почти шепотом благодарила Серафима. – А теперь мне, право, пора... Евлампия Ниловна с видом сокрушения покачала головой.

– Несчастливая ты девушка, погляжу я на тебя, Фима. Слава Богу, не маленькая, а отца боишься, воли себе нисколько не берешь. Что это, в самом деле, к добрым людям в гости пришла и сидишь, как на иголках.

– Я за каплями, – сказала Серафима.

Больной старик Дунин, дремавший в кресле, застонал. Евлампия Ниловна вздохнула.

– Беспокоят его здесь. Ах, теснота, теснота у нас! Девочки мои к тетке пошли, а то и повернуться негде. Не свой брат, бедность-то. Был и мой старик по торговой части, так же, скажем, как и Родион Яковлевич. Да Родион-то Яковлевич ныне первый у нас купец по своей части, только вот добра не на кого тратить, а моему другое определение: сиди без ног, а семья с голоду околевай...

– Что ж, мамаша, – робко вставил Леонтий Ильич, улыбаясь и поглаживая золотую бородку, – теперь что ж Бога гневить. Теперь мы, слава Богу...

– Слава Богу! Тобой одним и держимся. Ты у меня счастливый. Да велико ли у тебя жалованье на такую семью? Велико ли?

Серафима краснела, точно ее заставляли слушать то, чего ей слушать не следовало, наконец поднялась со стула, зажав крепко рукой в черной фильдекосовой перчатке сверточек с каплями.

– Уходишь? Ах ты, сиротка бедная! Некому ни приласкать тебя, ни повеселить! Другая бы девушка разве так жила, особенно если у родителя состояние? А ты и слова не скажешь, все с этой убогой-то вашей возишься. Крест Родиону Яковлевичу послан, а он на тебя его положил. Сладко, что ли, девушке век свой на убогой погубить? Сиделку бы нанять – чего лучше...

Серафима торопливо сказала, волнуясь:

– Я не жалуясь, Евлампия Ниловна. Лиза такая после мамашы осталась. Кому ж ходить за ней, как не мне? Она сама за собой не присмотрит. А я не чужая.

– Да я ничего и не говорю. Так, пожалела тебя, что жизнь твоя не веселая. А разве Лизу-то не жаль? Каждый раз смотрю и думаю: просто жалости достойно! Разве это человек? Без разума, без языка, вся больная? За чьи грехи она здесь на свете мается? Прибрал бы ее Господь, успокоил бы и вас, и ее.

– Божья воля, – так же торопливо промолвила Серафима. – Папаша очень к Лизе привязаны.

– Привязан не привязан, однако отец первый должен радоваться, если ее Бог простит. Конечно, все Его воля... Ну, прощай, Фимочка. А ты о чем думаешь? – вдруг обратилась она к сыну. – Темно. Проводи барышню домой. Ведь свободен?

Леонтий Ильич стоял уже с шапкой.

– Я и хотел, мамаша, просить позволения у Серафиме Родионовны проводить их. В переулках ныне фонарей не зажигают.

Ночь была теплая, облачная, но светлая, – за облаками стояла полная луна. Леонтий Ильич предложил Серафиме руку – она неловко оперлась на нее. Он был такой высокий, да она еще ни с кем никогда и не ходила под руку. Доски тротуаров, обнаженные, пахли сыростью и весной. Воздух теплый и, от облаков на небе, не острый, опять ласкался к лицу Серафимы, только теперь он был весь душистый, не одна свежесть и чистота в нем были, а предчувственный аромат земли, которая должна родить травы, обнаженных деревьев, которые должны родить почки и листья. По сторонам глухого переулка тянулись заборы, за ними, при сером свете заоблачной луны, видны были эти, пока невинные, нагие деревья, с черными, тонкими и уже совсем живыми ветвями.

– Так по двенадцати давать? – сказала Серафима дрожащим голосом.

Она говорила о каплях для Лизы. Ей хотелось сказать что-нибудь и было все равно, что, все – равно хорошо и нужно.

– По двенадцати. А то и по десяти. А больше двенадцати никак не советую, Серафима Родионовна.

– Что ж, разве ядовитые?

– Яда нет, да ведь как для кого. Не знаю, предупреждал ли врач. Я по тому сужу, что вы говорили, – у Лизаветы Родионовны сердце слабое. Тогда положительно больше двенадцати давать не следует. Мы с вами, может, целый пузырек выпьем – и ничего, а Лизавета Родионовна, при ее организме, от двадцати может заснуть и не проснуться наутро. Я знаю, у нас фармакологию строго проходили, и случаи нам приводились. Врач вас, верно, предупреждал?

– Не помню... Да я мало давала. Ужасы какие вы говорите. Может, лучше вовсе не давать?

– Нет, нет. Спать хорошо станет. И не яд это какой-нибудь! Я так сказал, для осторожности, что при слабом сердце больше двенадцати не следует брать.

Они шли несколько времени молча. Левая рука Серафимы, лежавшая на руке Леонтия Ильича, слегка вздрагивала, и сердце около нее билось часто и радостно. Серафима уже забыла о каплях, ей опять хотелось сказать что-нибудь, но она не знала, что.

– А вы, Серафима Родионовна, не огорчайтесь мамашиними словами, – начал Леонтий Ильич другим, более тихим, голосом. – Я ведь заметил, что вы расстроились. Мамаша – старый человек, намученный, ей простить надо, успокоить ее надо. Конечно, всякому о своей радости следует думать, вы же человек молодой, но, скажу вам по сердцу, очень мне в вас эта покорность родителю нравится.

Он помолчал, Серафима не ответила. Сердце билось все сильнее, так что почти выдержать было нельзя.

– Я и сам прежде всего на свете родителей уважаю и почитаю, – продолжал Леонтий Ильич. – Что ж, волю себе недолго взять, да ведь радости в ней нету.

Он опять помолчал.

– Одно только: уж очень вы всегда печальная. И лицо у вас такое печальное. У меня иной раз... вы не сердитесь, Серафима Родионовна, а, ей-Богу, сердце перевертывается, когда на вас гляжу. Такой уж я есть, не могу печального лица человеческого видеть, особенно, коль человек мне мил...

Серафима молчала, но и он теперь чувствовал, как дрожит ее рука. Они шли тише, нежный воздух еще ласковее, еще любовнее приникал к ее лицу.

Фонарь блеснул у самой калитки дома. Леонтий Ильич остановился, тихонько снял руку Серафимы со своей, но не отпустил, а слабо сжал ее пальцы, похолодевшие в стареньких фильдекосовых перчатках.

– Я к вам всей душой, всем сердцем, Серафима Родионовна, – сказал он ей. – Я весь тут, какой есть. Я лгать не стану. Я вас, ей-Богу, так полюбил... Вы уж не сердитесь, коли что. Я ведь не знаю. Вы...

– Я-то?

Серафима только и сказала и подняла на него глаза. При дрожании фонаря он увидел эти глаза, такие хорошие, такие влюбленные и беспомощные, – и не стал больше ничего говорить. Он наклонился и робко, едва касаясь губами, поцеловал ее в лоб.

Потом повернулся и пошел назад, а Серафима толкнула калитку, которая бесшумно отворилась и бесшумно заперлась за нею.

Дома Лиза еще не спала. Отец говорил что-то сурово, что она опоздала, что самовар не убран, – Серафима не ответила, она слушала и не совсем хорошо слышала, думала о том, что из темноты свет лампы режет ей глаза и больно смотреть. Молча, проворно и привычно делала она все, что надо, убрала со стола, раздела Лизу, осторожно накапала ей капель, которые принесла. Лиза любила лекарства и охотно выпила капли. В постели начала было буянить, но вдруг затихла и заснула. Серафима поцеловала руку у отца, ушла к себе и притворила дверь. Хотела было раздеваться, да не стала, а присела на скамеечку у широкой постели и так сидела, не двигаясь. Лампадка горела у киота, в головах постели, тени шевелились на подушках и на Лизином лице. Лиза спала, и лицо у нее было опять спокойное, прекрасное и невинное.

У Серафимы до сих пор не было ни одной ясной мысли, волна радости точно закрыла ее всю; но теперь, в тишине, ей стало спокойнее. Она совсем просто подумала, простыми словами то, что никогда раньше не думала:

«Вот, замуж за него пойду».

И эта мысль не казалась ей ни непривычной, ни стыдной, ни страшной. Другие какие-нибудь слова не приходили ей в голову, да и почему другие? В этих для нее понятно уложилась вся радость:

«Вот замуж за него пойду».

Как это будет, как устроится, она не думала. Просто – «замуж пойду» вместо: «люблю».

Потом ей захотелось помолиться. Она встала на колени у постели и подняла глаза на киот. Там, посередине, за лампадным светом, стоял образ Спаса, большой – благословение матери. В золотой ризе с камнями, весь яркий, розоволикий, ясноокий, с благостными, молодыми, синими глазами. Слева, углом, был другой образ Спасителя, но древний; от серебряной ризы лик его казался еще чернее; Серафима видела только темное пятно – да белые точки глаз. Но она и смотрела на него редко, потому что он был сбоку, она всегда молилась тому, материнскому.

Своими словами Серафима не умела молиться. Невольно ей пришли на память заученные слова, и она стала шептать:

– Господи, Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любоначала и празднословия не даждь ми...

Но потом она остановилась и не кончила молитву. Не входили в сердце слова и не давали утolenия радости. «Дух праздности...» В ней и не было духа праздности. «Уныния». Какое же уныние, когда радость? «Любоначала, празднословия...» Не для Серафимы были эти слова, и она невольно остановилась. А для счастья своего она не знала слов, которые могла бы сказать Христу. И она просто смотрела на ясноокий лик.

– Господи, Господи!

Христос показался ей знакомым-знакомым, милым, драгоценным, златокудрым, с синими, добрыми глазами. Она так долго смотрела ему в лицо, что уже забыла почти, что это – Христос. Ее любовь была в нем, была – он.

И ни греха, ни смущения в душе оттого, что Христос – такой знакомый, такой похожий... Только усталость от счастья.

Лампадные тени бродили по подушкам. Лиза спала, красивая, тихая. Серафима подумала, что ей хочется плакать – но слезы не текли. Она встала, быстро разделась, легла рядом с Лизой и сейчас же заснула.

VI

Прошло несколько дней, потом недель. В воскресенье Серафима, как всегда, пошла к обедне. В церкви она молилась не по-домашнему, а по-привычному, крестилась, кланялась. Теперь она, входя, постаралась забыть свою радость, которая здесь казалась ей «греховной». В церкви это был грех, в церкви все грех, да и все иное было в церкви для Серафимы, чем дома. И свет иной, и лампы, и лик Христа – не тот. Обедню она выстояла, как прежде выстаивала, потому что так надо. Впрочем, ей было немного скучнее и тяжелее.

Подходя к дому, Серафима вдруг почувствовала себя нехорошо, точно от злого предчувствия. Но это было только мгновение. Радость сейчас же вернулась. А когда Серафима вошла в комнату – радость перешла в ужасное счастье и волнение: за столом, против отца, сидела Евлампия Ниловна, принаряженная по-праздничному, а сбоку, на стуле, с шапкой в руках – Леонтий Ильич. Раньше он никогда не бывал у Родиона Яковлевича, и Серафима поняла, что решается ее судьба.

– Вот и Серафима, – произнес Родион Яковлевич непривычно весело и громко. – Раздевайся живей, – видишь, гости. Евлампия Ниловна и сынка мне своего для знакомства привела. Попотчуй гостей-то. Я и сам после обедни чаю еще не пил.

Серафима хотела выйти, но в эту минуту Дарья уже внесла самовар.

– Ты, Дарья, погуляй с Лизой по двору, – продолжал Родион Яковлевич мягко. – Одень ее, Серафима. А сама останься, посиди в нашей компании. Мы уж тут, признаться, разные разговоры разговаривали, да все не по-сурьезному.

Лизу увели. Серафима сняла шляпку и присела тихо, поодаль, не поднимая глаз.

Евлампия Ниловна казалась не то сердитой, не то смущенной; красная, она сжимала губы и обдергивала платье.

– Никаких у нас особенных разговоров не было, – сказала она. – А почему не поговорить. На то и в гости люди ходят, чтоб не молчать.

– Это как в какой час, – молвил Родион Яковлевич, и теперь в голосе его была обычная суровость. – Надо – поговорим, не надо – помолчим. Так-то, гости дорогие.

Евлампия Ниловна еще сердитее сжала губы. Потом произнесла:

– А вот Серафима-то у вас вечная молчальница. Этак девушке не весело.

Родион Яковлевич глянул из-под бровей.

– Слышал я уже это сейчас от вас. Не весело ей. А какое ей веселье? Чему радоваться? Кого тешить? Серафиме не замуж идти.

Прошла минута тишины. Только самовар шумел. Заговорила Евлампия Ниловна:

– А почему же и замуж не идти? Всякая девушка на свою судьбу надеется.

– Потому не идти, что Серафимина судьба иная. У нее сирота на руках, убогая. Ей о себе думать не показано. Да и что даром говорить? Она уж не молоденькая. И молоденькая была бы – для бесприданниц женихов-то нынче не припасено.

Он опять глянул из-под бровей. Евлампия Ниловна даже подскочила.

– Серафима-то у вас бесприданница? Вот оно как! А только что пустые слова говорить, Родион Яковлевич; слава Богу, на людях живем. Люди-то за это осуждают.

– Мне люди не указ. А слова мои не пустые, а крепкие. В кармане у меня никто не считал, да коли и считали – так то мое, и воля моя, и рассуждение мое. Случая не было – и воля моя неизвестна никому была, а нынче к слову пришлось – так таить мне нечего. Вот и Серафима пускай послушает.

Евлампия Ниловна не нашлась ответить. Леонтий Ильич и Серафима сидели, опустив глаза.

– Вот как я положил насчет дочерей моих, – медленно начал Родион Яковлевич. – Извините, гости дорогие, коль поскучаете, – вставил он вдруг ласково, – уж к слову пришлось. Да. Состояние у меня, слава Богу, есть, не великое и не малое, и все оно, по смерти моей, откано мною дочери Елизавете. Опекуны тоже назначены надежные – по болезни по ее. Дочери же Серафиме, пока она живет с сестрою, как жила, в брак не вступая, назначено содержание, сколько для жизни требуется. Она у меня к лишнему не приучена, да лишнего и не надо, и так в довольстве будет при сестре. Оговорено же у меня: если Серафима в брак после моей смерти захочет вступить или сестру на чужое попечение отдать, в лечебницу там, что ли, обязанностями своими тяготясь – то пансиона она своего лишается.

Родион Яковлевич приостановился. Опять только самовар шумел и то тише, потому что гас. Евлампия Ниловна, задыхаясь, спросила:

– А в случае, если Елизавета раньше сестры умрет? Все же Серафиме все после нее достанется.

– К людям веры не имею, – строго сказал Родион Яковлевич. – Злы люди, нет в них любви, а тем паче к убогому, который защитит себя как – не знает. О Лизавете, кроме отца родного, никто не позаботится. А умрет отец, останется она беззащитная, с состоянием – соблазн людям. Серафима не зла, да проста; коли будет после сестры наследницей – обойдут ее люди, наговорят, что вот, мол, одна помеха делу – сестра убогая, бельмо на глазу... Житье ли тогда Лизавете? Нет, тут разумение справедливости надо. И так у меня оговорено, что буде Лизавета и умрет – сестра ей не наследница. Содержание свое малое сохранит до конца дней, в монастырь захочет – единовременный вклад сделает – много ли надо? А Лизино состояние пусть тогда на вечный помин наших душ в Сергиевский приход пойдет.

Евлампия Ниловна хотела что-то сказать и не могла, только глядела широко раскрытыми глазами на старика.

– Что ж... что ж это? – вымолвила она наконец. – Да это законов таких нет... Это... за что ж вы так дочь-то свою родную обидели?

– По закону моя воля наградить дочерей, как хочу, – твердо сказал Родион Яковлевич. – А обиды тут нет. Я разумом до правды дошел. Серафима – плоть от плоти моей, я ей отец и наставник, я ее на истинном пути должен хранить. Я Господу за нее отвечаю. Путь ее ясен – как потрудиться в жизни. И до тридцати лет она с покорностью волю Божью совершала и без соблазнов пустых прожила. Будет соблазн – отец должен охранить ее по своему разумению.

Серафима ничего не поняла. Она и слушала как сквозь сон. Она только знала, что пришло какое-то неотвратимое несчастье, всему конец и ей конец.

Евлампия Ниловна притихла и спросила уже несмело:

– Значит, ваша такая воля, чтоб Серафиме замуж не идти?

– Ежели бы она теперь вздумала и на долг свой восстала, я силком держать не стану. Да случая такого не вижу, потому что тогда ей ничего от меня не будет, а кому ныне жена-нахлебница не тяжела?

– А если бы, – продолжала Евлампия Ниловна, вдруг осмелев, – скажем, Лизавета еще при вашей жизни умерла? Все в Божьей воле... Ужели и тогда Серафиму обидели бы?

Леонтий Ильич встал и отошел к печке, не слушая. Родион Яковлевич прикрыл глаза рукой, помолчал и сказал тихо:

– Что говорить? Его, Его воля. Захочет – иной труд укажет Серафиме. Нет ей от меня обиды и не будет. Оставит мне Господь одну Серафиму – увижу указание от Него, не возропщу. Все ее тогда, не для кого хранить. Я только волю Господа исполняю по моему слабому разумению.

Наступило новое, долгое молчание. Самовар совсем потух. Леонтий Ильич так и не сказал ни слова.

– Что ж, гости дорогие, чайку? – вдруг ласково и громко произнес Родион Яковлевич. – Угощай, Серафима. Извините, заговорил я тут вас семейными делами. Оно бы и не следовало, да к слову пришлось. Простите старика.

Серафима поднялась.

– Кушайте, пожалуйста, – сказала она едва слышным, ровным, точно не своим голосом.

– Нет, нет, нам пора. И то засиделись. И пора-то прошла. Собирайся, Леонтий. Спасибо на угощении, Родион Яковлевич. Некогда нам. Разговор разговором, а дело делом. Нас извините, Христа ради. Не можем.

– Ну, как угодно. Жаль очень. В другой раз когда-нибудь милости просим. Проводи, Серафима, в сенях темно, кадка там стоит. Прощайте, благодарим покорно.

Серафима, как была, в платье, с открытой головой, вышла за Луниными в сени и на двор.

Евлампия Ниловна обернулась к ней, лицо у нее было все красное, точно из бани, сердитое и взволнованное.

– Ну, прощай, прощай, Фимушка. Иди. Покорно благодарим папеньку твоего на угощении, на добром слове. Вот она, жестокосердность-то родительская! Старая-то вера где сказывается. Такие родители ответят Богу, ответят! Эх ты, моя бесталанная, страдалница, за чужие грехи ответчица! И жалко тебя, да помочь нечем. Коль не образумит Господь отца, – пропала твоя доля, Фимочка!

Она утерла наворачнувшиеся злобно-жалобные слезы и поцеловала Серафиму.

– Пойдем, Леонтий.

– Я... завтра... – начала Серафима.

Евлампия Ниловна ушла вперед, но Леонтий Ильич услышал тихие слова Серафимы, понял, что она хочет сказать: «Я завтра приду», взял ее за руку и молвил:

– Приходите, Серафима Родионовна, потолкуем. Может, что и придумаем. И простите вы меня, несчастного, Христа ради.

Серафима вернулась в горницу и хотела пройти мимо отца, который сидел теперь за книгой. Он остановил ее.

– Смотри ты, тихоня! В голову себе не забирай. Не видишь, что ли, как люди к чужим деньгам подбираются. Оно сладко. Девка до седых волос дожила, а уши развешивает. Разум-то собери, да о долге о своем думай.

Серафима не ответила, только взглянула исподлобья тем же недобрым взором, какой бывал и у отца.

– Чего глядишь? Эй, смири себя! О труде своем тебе думать, Богу молиться, грехи замашивать...

– Чужие грехи... – вдруг сквозь зубы произнесла Серафима.

Отец поднялся со стула и крикнул с изумлением:

– Что? Что ты сказала?..

Но Серафима уже скользнула вон, в другую комнату, и тихонько притворила за собою дверь.

VII

На другой день Серафима ходила к Луниным в аптеку. У Лизы с утра начались припадки, к вечеру она утихла, но Серафима все равно бы пошла и даже отца не подумала спроситься. Его, впрочем, и дома не было.

Леонтий Ильич встретил Серафиму по дороге, видно, поджидал ее, и сразу стал говорить те самые слова, которых Серафима от него и ждала: горько жаловался на судьбу, на то, что их разлучают, что не дается счастье.

– Нет мне ни покоя, ни радости без вас, Серафима Родионовна. А только посудите сами: как мы против родителей пойдем? Все равно не будет счастья. И осуждать вашего родителя не хочу, хоть и кажется мне, что неправильные у него мысли. Пойти наперекор – что ж, я вас люблю, мне тяжело смириться, я бы рад смиряться, – да как жить? Сами знаете, бедность у нас, отец больной, сестры-девочки мной держатся, а ведь я уж тогда должен их оставить помощью... Вот какое дело.

Серафима и не думала, что можно пойти наперекор. Про себя ничего не думала, а про него знала, что ему нельзя. Она и сама не понимала, на что надеялась, когда шла к Луниным и зачем хотела видеть Леонтия Ильича. Когда он стал говорить ей, что единственное средство – это, чтоб она попробовала упросить отца, – она молчала, но и тут ей не было надежды, она знала, что отец не переменит решения, до которого однажды «дошел разумом».

– Нам ведь не богатство какое-нибудь нужно, нам так, немного, чтоб есть что было, чтоб у моих-то не отнимать, – говорил Леонтий Ильич. – Попросите, Серафима Родионовна, может, он и смягчится. У отца да не выпросить! Ведь не каменное же у него сердце. Попросите, а? Уж я буду в надежде.

Доброе лицо Леонтия Ильича, такое сначала грустное, теперь опять улыбалось; он так рад был верить, что все еще может устроиться, тихо, мирно. Безобидная душа его отвращалась от возможности страдания, как от чего-то странного, неестественного.

Потом они пошли к Евлампии Ниловне. Там тоже не было ничего неожиданного для Серафимы. Только Евлампия Ниловна кляла и ругала на чем свет стоит Родиона Яковлевича и всплакнула над судьбой Серафимы. К тому, что Серафима будет говорить с отцом, отнеслась без восторга, хотя и сказала:

– Почему ж не поговорить? Попытайся. Да вряд ли толк будет. Нет уж, Фимочка, видно, так Богу угодно. Не судьба моему Леонтию...

В это время Леонтия Ильича кликнули в аптеку. Уходя, он пожал руку Серафиме, поглядел на нее ласковыми синими глазами и опять шепнул:

– Так поговорите? Уж я буду в надежде...

Опять Серафима сидела за столом с висячей лампой, молчала, упрямо глядя вниз, а Евлампия Ниловна изливалась в бесконечных жалобах и советах.

– Ты ему отлей, отлей свои слезки, Серафима! Ты ему выскажи. Покориться покорись – а выскажи. Ишь ты, добренький! Все, говорит, ее будет, коли Лизавета прежде меня умрет! Да жди, умрет она! Такие-то и живучи. И где она больная, девка кровь с молоком, сильная, только что разума ни крошки, хуже, прости Господи, чем у пса или у какой иной твари. У эдаких-то и души нет. Ходи – не ходи, – за нее Богу не ответишь. Больная! Всех нас переживет!

– У нее припадки теперь, – сказала Серафима. – Очень мучается.

– Мучается, да не к смерти. А тоже поглядеть – и зачем мучается? И самой, и другим терзание. Богу молиться надо, денно и ночью, чтоб прибрал ее Господь, простил на ней родительские грехи. А ты-то как бы вздохнула! Зажили бы вы с Леной, мы бы на вас радовались...

Серафима поднялась и стала прощаться, Евлампия Ниловна вышла ее проводить в сени.

– Молись, молись Богу, девушка, о своем счастье, чтоб развязались у тебя руки. Припадки, говоришь, у Лизаветы? Что ж, капельки-то эти даешь, что Леня тебе готовил? Покойнее она от них?

– Даю. Ничего, помогают.

– То-то, давай, давай. Крепче спать будет.

– У нее сердце слабое, не каждый день даю.

– Какое там слабое! Взгляни-ка на нее – белая, румянец во всю щеку, да и рослая какая! Кто это тебе наговорил? Они, капли-то, не вредные, мне Леня сказывал – хоть два пузырька выпей. Успокоительные. Ты побольше ей давай, не бойся. По двадцати там или по двадцати пяти. Поспит и успокоится. Ей же легче. Прощай, голубка, Христос с тобою. Ты уж не ходи к нам пока, хуже бы отец не рассердился. А там видно будет. Прощай.

VIII

Серафима точно просыпалась. Ни прежней равнодушной покорности, ни привычного страха перед отцом у нее больше не было. Еще радость ее была робкая, смутная, но озлобление дало ей твердые, определенные мысли и слова. Впрочем, эти слова она говорила только себе. Она понимала, что с отцом спорить безумно и не нужно. Все равно ничего не будет.

«Камень на шею навязали... камень... камень...» – думала она, с ненавистью глядя на Лизу. Одевала, раздевала, укладывала она ее теперь почти грубо, с жестокостью, которая пугала даже ничего не понимавшую девочку.

Припадки были тяжелые. Серафима едва сдерживала корчившиеся члены, подкладывала подушки и опять думала:

«Мучается. И сама мучается, и других мучает. Развязал бы ее и меня Господь. Ну кому она нужна? На что живет?»

Вечером Серафима, усталая, сама больная, стала капать в рюмочку капли, но рука дрожала, она влила сразу слишком много, – и с сердцем выплеснула в умывальник, чтобы снова накапать.

Когда Лиза уснула, – она вспомнила, как выплеснула лекарство, и задумалась. Вот и Евлампия Ниловна ей про капли говорила. Неправда, конечно, что Лизе капли не вредны, Леонтий Ильич лучше знает. Может, и ничего не было бы, кабы она тогда в таз не вылила, а может, Лиза так бы и не проснулась. Ну, и не проснулась бы. И не мучилась бы уж больше. А у нее сердце слабое, сказали бы – от припадков умерла. Это тоже бывает, доктор говорил. На Лизе грехов нет; за что же ей здесь мучиться?

Серафима встала, взяла бутылочку с каплями, открыла, понюхала: пахло горьковато. Повертела рецепт: нигде не написано, что яд.

«За такую Богу не отвечать», – вспомнились ей слова Евлампии Ниловны.

Серафима глянула на киот: отсюда ей виден был только старый, черный образ в серебряной ризе, с белыми глазами. Строгий лик походил, или Серафиме казалось, что он походит – на отца, и у нее опять поднялось озлобление. Такие же или вроде этих образа и в церкви. Помни долг свой, да трудись, да в грехах кайся. Какие грехи? За то отвечать, что Лизе не мучиться и ей самой не мучиться? Коли так – и пусть грех, и не страшно греха. Только мученье одно страшно.

«Завтра на ночь и дам ей капли, – решила Серафима. – Тридцать дам или сорок, а там пусть, что будет».

Опять после того на нее нашел туман, и целый день она ходила, как мертвая, а вечером совсем не дала Лизе капель. И в следующий день не дала, и так шли дни. На шестой неделе отец выехал в Москву ненадолго. Перед отъездом постучал пальцами о стол и сказал Серафиме строго:

– Смотри! У меня от Лизы ни на шаг не отлучаться. Ты отвечаешь.

Серафима вспыхнула.

– Да она больная, папаша. Как мне за нее отвечать? Я не доктор.

– Не дерзи, дура! Не про то говорю. Говорю, чтоб ты из дома ни на шаг. Шляться никуда не смей, слышишь?

Прежде отец никогда так грубо не говорил с Серафимой. Она не отвечала, но в сердце опять вспыхнуло озлобление и туман слетел с души.

«Недолго вам надо мной измываться, – подумала она, провожая его до калитки. – Возьму свое. И Бог не осудит. Комар сядет на щеку – комара давим. А в Лизе разве душа? Разума нет – и души нет. Плоть одна поганая».

Серафима в одном платье, с открытой головой, пошла по двору. Так же шла она от калитки домой и в тот раз, на первой неделе, когда возвратилась с ефимонов и еще Леонтий Ильич ей встретился. Тогда лежал снег, кругом было чисто и тихо, в небесах – светло и торжественно, а в душе была радость. Она думала, что радуется светлому празднику, и боялась, что радость – грех. Но теперь она знала, что радость – не грех, а страдание – грех, и не хотела страдания.

По небу плыли серые весенние тучи. Снег сошел, и уж подсыхало. У стенки, на солнце, выросла малая, бледная былинка. Серафима присела на приступочку, недалеко от палисадника, и сгорбилась, согнулась от душевной боли. Но и теперь кругом была чистота и тишина. У небес, у травки под стеной – нет разума...

«Значит, и души нет, плоть одна... поганая», – подумала Серафима, и самой ей показалось это странным.

Глубоко, на самом дне души у Серафимы все-таки была радость, та же самая, потому что и любовь была; только страдание ее затянуло, как грозовая туча затягивает небо.

«Придавило меня... Господи! Господи! Нет у меня разума, ничего я не знаю, не словами молюсь – болью моей молюсь, и где Ты, Господи, не знаю, и Тебя ли люблю – не знаю, прости Ты меня, научи Ты меня, сними Ты с меня... Только любовь мою не отдам, радость мою не бери, Господи...»

Серафима тихонько заплакала, слез было мало, и не утопили они души. По небу все так же скользили серые, легкие облака. Где-то колокол звонил, редкий, мерный, тонкий. Точно скудные слезы капали. Серафима прислушалась.

«А вот на Пасхе веселый звон будет», – подумала она безотчетно.

Встала было, хотела идти домой, да опять заплакала, увидела травку под стеной, наклонилась – и не сорвала ее, пожалела, только дотронулась рукой до нежной ниточки, до стебелька.

«Нет души – а радуется...»

– Барышня, вы здесь? – крикнула с порога Дарья. – Пожалуйте-ка сюда.

В низких горницах было уже темно. Зажгли лампочку; пахло душным теплом, полотенцами, постным кушаньем и керосином. Лиза мычала в углу. Потянулся долгий, долгий одинокий вечер, с одинокой, молчаливой мукой. Серафима растворила двери и ходила из одной горницы в другую, а в сердце у нее счастье рвалось из-под навалившегося душного и злобного страдания.

Лиза мычала в углу. Серафима думала: «Вот кто меня душит. Навалилась на меня. Придавила, как плита могильная. Неужели пропадать моей радости из-за нее? Ни разума – ни души...»

И опять ходила, и опять рвалось в ней сердце.

– Пойдем спать, – сказала она вдруг Лизе и взяла ее крепко за руку.

Лиза было замычала испуганно, однако пошла, волоча ноги. Серафима оправила постель – лампадка уже горела перед киотом – и стала раздевать Лизу, срывая с нее платье, чулки и юбки, и говорила громко, с ней или с собой – она не знала.

– Чего мычишь? Больно? Ладно, потерпи. Ты тварь бессловесная. Камень придорожный. Понимаешь? Ты жернов мне на шею. В тебе и пара нет, не только что души. За тебя Богу не отвечать.

Лиза бессмысленно глядела на сестру и мычала, размахивая руками. А Серафима не могла не говорить. Сердце у нее в груди росло, росло и, казалось, этого и выдержать нельзя.

– Вот, лекарства тебе дам, хочешь лекарствица? Уснешь крепко, и не будет больно. Хорошие капельки, много дам. Будешь разумная, веселая, мамашу увидишь. Ну, что глядишь? Ты мне спасибо скажи.

Серафима засмеялась. Лиза, глядя на нее, тоже засмеялась. Она смеялась не громко, но дико.

– Моя воля, что хочу с тобой, то и сделаю. И не боюсь никого. Хорошо там, Лиза: ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. На панихидах так поют. И над мамашей пели. И над тобой будут. Ну, чего вылезает из-под одеяла? Лежи. Постой, я тебе сейчас лекарствица...

Серафима резко отворила дверцу шкапа, торопясь, вынула бутылочку с каплями, рюмочку, отсчитала двадцать, потом еще десять, потом еще подлила, не считая, добавила воды из графина и подошла к постели. Руки у нее так дрожали, что мутная жидкость колыхалась и билась о стеклянные стенки.

– Ну вот, Лиза. Вот теперь выпей. Только надо скоро-скоро, сразу. А то мамашу не увидишь. Постой, погоди, сейчас.

Серафима встала на колени перед постелью. Лиза потянулась к рюмочке.

– Постой. Мы Богу помолимся. Так нельзя, я так не хочу. Я не ради зла какого-нибудь, а ради любви моей. Господи! Я ради...

Она подняла глаза. Сверху смотрел на нее, из-за лампадного огня, светлый лик, веселый и грустный, такой знакомый, такой похожий... – и такой весь иной. Синие, добрые глаза были ласковы, но точно спрашивали: «Ради Меня ли?..»

Серафима остановилась. Еще раз хотела повторить, хотя бы мысленно, «ради любви...» и не смогла. То, что поднималось из сердца все время, – вдруг поднялось до конца, перешло, перелилось, вырвалось вон, – и Серафима кинулась лицом в постель, бросив рюмку на пол. Рюмка упала и разбилась. У Серафимы слезы потекли неистовые, с криком, и Лиза, которая не могла видеть слез, тоже заплакала, закричала и потянулась голыми, тонкими, еще детскими руками к Серафиме.

– Лиза... Лиза... Травка моя неразумная... Разве я ради любви хотела? Разве можно тебя... ради любви? Ради любви – любить, хранить тебя. Плоть, говорила, неразумная, поганая. Прости, Лиза. Не оттого, что грех – не могу, а оттого, что любовь во мне к Нему, ко всему, что от Него – не могу.

Серафима плакала все тише, не отнимая от своей шеи нежных Лизиных рук. И Лиза успокоилась понемногу, и так и заснула, и сейчас же стала красивой и тихой, как весенние снега и светлое небо над ними. А Серафима до утра не спала, все лежала, не шевелясь, одетая, и слушала, как сердце у нее успокаивается, бьется ровнее и крепче. Туча боли растаяла. И мысли опять делались ясными и очень простыми.

«Разве я для любви моей убить хотела? – думала она. – Ведь любовь мою никто у меня не отнимал. Любовь моя всегда при мне. Я чтоб замуж за него пойти, чтоб деньги... вот для чего. Души нет... а как мы знаем? В травинке, вон, нет души, а разве она плоть поганая? В ней моя радость. И в Лизе – радость. Это я мою радость убить хотела, чтоб замуж пойти».

Горьковатый запах от пролитого лекарства подымался с полу и менялся, смешавшись с запахом лампадного масла.

«Ну и не пойду замуж, – думала Серафима, засыпая и вся отдыхая. – А радость моя при мне. В радости моей страха нет, и печали не боюсь. Мамаша говорила... печалью и радость дорога... Господи...»

Уже не туча, а легкое облако накрыло ее, и она заснула.

IX

«Тело Христово примите...»

Серафима сошла со ступеней амвона и стала, где раньше стояла, у левого крылоса. Был четверг, на Страстной. Серафима отговела и причастилась. Солнце падало на церковный пол узкими, пыльными, веселыми полосами. Вся церковь казалась золотой, и воздух был густ и светел, как дорогой желтый камень.

Радостные причастные напевы дрожали в сводах; радость о том, что все чисты, все оказались достойны, для всех – благодать. Нет греха, негде быть ему, потому что здесь все чисты.

Когда служба кончилась, Серафима надела кофточку на свое белое, может быть, слишком пышное, парадное платье и направилась к выходу. Но в самой парадности ее одежды было что-то трогательно-торжественное, та же непривычность, особенность – как и в причастии.

Яркость весеннего, уже почти летнего, солнца на паперти была нестерпима. Серафима остановилась на ступенях. В эту минуту ее догнал Леонтий Ильич, который тоже стоял в церкви, но к Серафиме там не подходил.

– С принятием Святых Тайн, – произнес он, несмело кланяясь и глядя на Серафиму своими добрыми синими глазами.

Она покраснела чуть-чуть, потом подала ему руку и сказала:

– Благодарю.

Они вместе сошли со ступеней паперти, вместе минули церковную площадь и пошли по переулку, где был дом Серафимы.

Земля совсем высохла. У дощатых тротуаров, подле деревянных тумб, везде пробивалась, подымалась яркая-яркая трава, и расцветали круглые желтые цветы, некрасивые, но самые прекрасные, потому что самые первые, те, у которых ломкий стебелек полон горьковатым молоком. Небеса сделались выше, серьезнее и темнее. За серыми заборами деревья стояли прозрачные, покрытые первым налетом, точно зеленым пухом. Вверху, едва видные, быстро мелькали птицы, наполняя воздух ровными, пронзительными, счастливыми криками, которые не нарушали, а углубляли тишину.

Леонтий Ильич долго шел молча рядом с Серафимой, но потом несмело и ласково заговорил:

– Давно мы не видались, Серафима Родионовна. Ждал вестей, да и не дождался. Как здоровье ваше?

– Благодарю, я здорова. Я рада была встретить вас, Леонтий Ильич.

– Все смотрел на вас в церкви. Такое хорошее у вас было лицо, веселое. Да и теперь вон улыбаетесь. Нет ли чем и меня порадовать? Родион Яковлевич что? Могу спросить вас, имели вы... разговор с ним?

Серафима покачала головой.

– Нет, Леонтий Ильич. Я не говорила с папашей. И что себя обманывать: он решения не изменит.

Леонтий Ильич побледнел немного, улыбка слетела с его румяных губ.

– Как же так? А я было, видя вас радостной, подумал было... Значит, конец нашему делу? И вы, значит, мысли свои ко мне переменили?

– Я к вам никогда не переменюсь. Я вас до конца моей жизни буду любить, Леонтий Ильич, – просто сказала Серафима.

Он взглянул на нее, хотел что-то проговорить, но она перебила его и поспешно прибавила, точно боясь, что он не так ее поймет:

– Замуж не судьба мне идти – я и не пойду. Что ж, я бы пошла, если б судьба. А смерти желать живому, чтобы мне выйти – я не могу. Вы не думайте, Леонтий Ильич, я не так как-

нибудь покорилась, а я вольно. Любить вас всегда буду, а больше ничего не надо. Вы себе хорошую невесту найдете, добрую девушку, подходящую. Полюбите ее. Я узнаю – радоваться буду, если хорошая попадется и сама станет вас любить.

– Вот какие горькие слова вы мне говорите, – начал Леонтий Ильич, и на доброе лицо его легла тень недоумения, и губы дрогнули. – Нет, видно, вам моя грусть до сердца не доходит. Вам и горя мало.

– Да нет же, Господи! – сказала Серафима. – Как еще говорить? Я не умею говорить. У меня такая грусть, что и дна ей нет, заглянешь в нее – а она уж и на грусть не похожа, а будто и радость. Сказать словами, не знаю как, а вы не слушайте, вы поверьте, что все хорошо, и мне хорошо, – вот и вам будет хорошо.

Они стояли у калитки дома. Серафима подняла ресницы, улыбаясь, лицо у нее было бледное и светлое, а в глазах стояли и не проливались слезы. Она не умела ему объяснить ни своей радости, ни своей печали; Леонтий Ильич смотрел на нее, не понимая, но чем дольше смотрел, тем легче, тем веселее становилось и у него на душе.

А небо и земля вокруг них были чистые-чистые, и казалось, что ничего другого и нет на свете, кроме чистоты, тишины и счастья.